

М. ГОРБАЧЕВ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ*

«...Мне кажется, что пора снять ореол какой-то святости, мученичества и величия с фигуры Горбачева. Это заурядный партийный работник, в силу обстоятельств попавший в историю и содействовавший развалу огромного советского государства. Никакого отношения к развитию демократии и преобразованиям он не имеет. Если бы не было Горбачева — был бы другой. Общество должно было пройти через реформы. Если бы не было Горбачева, может быть, эти реформы пошли бы более удачно, более эффективно»¹.

Это — цитата из выступления председателя Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова на пресс-конференции в Дели, которую мы приводим по газетному отчету. Ее подчеркнута полемическая форма, может быть, рассчитанная на эпатаживание собравшихся журналистов, обнажает те содержательные элементы, которые постепенно становятся общим местом в статьях о бывшем президенте Союза: представитель правящей партийной верхушки начал реформы, побуждаемый необходимостью сохранить основы «системы», мощные социальные силы, приведенные им в движение, вырвались из-под контроля и оттеснили, а затем и вытолкнули нерешительных, колеблющихся сторонников косметических полуреформ. Так начался новый этап уже демократической революции, приведшей к падению «системы», закономерному распаду коммунистической «империи» и появлению новых, подлинно демократических лидеров.

С теми или иными вариациями эта схема прослеживается и в специальных социологических (в том числе и зарубежных) статьях, и в массовой пропаганде в периодической печати. В нее очень удобно вписываются фигура Михаила Горбачева и конкретные имена политиков, занимающих сейчас верхушку социальной пирамиды.

Концептуальная основа этой схемы совершенно прозрачна: это официально утверждавшаяся в 1930—1970 годы философия общественного развития, заимствованная новыми идеологами почти без изменений. Когда-то Энгельс упрекал Гегеля в том, что его система ограничила его диалектику: завершением саморазвития абсолютного духа оказалось современное Гегелю немецкое государство и его, Гегеля, философия. Между тем именно это противоречие определило характер идеологизированных исторических

* Печатается по изданию: Культурологические записки. Вып. 1: Конец столетия. Предварительные итоги. М., 1993. С. 207—225.

¹ Санкт-Петербургские ведомости, 1992, 19 августа. С. 4.

концепций, о которых идет речь, в том числе, кстати, и концепцию «Краткого курса истории ВКП(б)». Эволюция общества рассматривалась как линейный прогресс, доминирующим началом которого является революционное движение, также идущее по восходящей линии. Отсюда и своеобразный исторический фатализм, очень удобный для пропагандистских целей: вся предшествующая социальная и культурная история имела значение лишь как предыстория и обоснование исторической легитимности правящих социальных групп; в прошлом искали то, что с неизбежностью подготавливало их приход к власти. Отсюда требование «классового подхода» как основного критерия оценки прошлого: в нем актуализируются лишь те идеи или события, которые соответствуют идеологии правящей группы; остальное отбрасывается или переинтерпретируется в желаемом направлении. Примеры общеизвестны; в официальной русской культурной истории долгое время обходились без Карамзина, Достоевского, религиозной и консервативной философии XIX—XX столетий, «серебряного века»... Что же касается «неканонических» исторических личностей, то их культурное и социальное поведение предстало как история ошибок, то преодолеваемых, то усугубляемых, а эволюция — как постепенное отставание от прогрессивных идей времени. Такова концепция эволюции Плеханова в «Кратком курсе...»: на II съезде РСДРП он «шел вместе с Лениным»; затем «дал меньшевикам запугать себя угрозой раскола. Он решил во что бы то ни стало «помириться» с меньшевиками. К меньшевикам Плеханова тянул груз его прежних оппортунистических ошибок. Из примиренца к оппортунистам-меньшевикам Плеханов вскоре сам стал меньшевиком»¹. Здесь лишь нужно заменить «меньшевиков» на «партократов» и «Плеханова» на «Горбачева», чтобы получить широко пропагандируемую концепцию деятельности последнего.

Между тем здесь неверна самая модель.

* * *

Попытаемся наметить иную систему взаимоотношений, — также неизбежно грубую и ограниченную, но небесполезную в методическом отношении. Исходной точкой отсчета здесь будет не личность, а общество. В оценке деятельности личности принято почему-то исходить из презумпции правоты общественного суда как выражения «мнения народного» (в ранней русской историографии, например, у Карамзина, «народным мнением» иногда даже верифицировались исторические источники). Между тем «народное мнение» устанавливается не сразу и отнюдь не всегда тождественно мнению конкретного, исторически локального общества. В оценке крупных деятелей это последнее почти всегда ошибается, ибо не может сразу принять экстраординарное явление, порывающее с обыденным сознанием. В этом смысле степень популярности очень часто обратно пропор-

¹ История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Госполитиздат, 1950. С. 44.

циональна исторической и культурной значительности; популизм же всегда апеллирует именно к массовому сознанию. В истории культуры, в том числе и русской культуры, примеры тому весьма многочисленны; достаточно вспомнить резкое падение популярности позднего Пушкина. Пушкин же дал поэтическое (и вместе социально-психологическое) осмысление разительного факта этого рода: трагической судьбы Барклая де Толли, чей спасительный военный план был осужден обществом как «измена»:

«Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоём звук чуждый не влюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою»¹.

Для Пушкина этот факт был показателем низкого уровня культурного самосознания современного общества, о чем он писал неоднократно, — подробнее всего в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. «...Наша общественная жизнь — грустная вещь»; в ней царит «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине», «циничное презрение к человеческой мысли и достоинству»². Именно этот взгляд на общество в целом приводил его к убеждению, что в России «правительство всегда ... впереди на поприще образования и просвещения» и что «народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно»³.

Он сделал попытку описать феномен «полупросвещения», которым, по его мысли, страдает и значительная часть образованного общества. «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему...»⁴.

Тридцатью годами позднее, в середине шестидесятых годов, в эпоху значительно большей демократизации общества, с бесконечно возросшей ролью общественного мнения, Некрасов с беспощадностью обрушивался на массовое, уже политизированное, сознание. «У нас неуважение к уму Сильней неуважения к закону» — записывает он в черновых набросках «Медвежьей охоты», — а в тексте вкладывает в уста представителю культурной генерации «сороковых годов» целую инвективу против «русского общественного мненья», отмечая в нем прежде всего коллективную агрессивность («на нем предательства печать И непонятого злорадства»). С «преданиями рабства» связывал он практику единодушных апофеозов победителей и столь же единодушных осуждений «неудач», которые в его изображении предстают почти как проявления стадного инстинкта:

«Сперва — сторонников полки, Восторг почти России целой, Потом — усталость; наконец Все настороже, все в тревоге, И покидается боец Почти один на полдороге...»

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. III. (М.; Л.), 1948. С. 379.

² Пушкин А. С. Письма последних лет (1834—1837). Л., 1969. С. 156. (Подлинник по-французски).

³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. XI. 1949. С. 223.

⁴ Там же. Т. XII. С. 36.

Его изображение «постыдных оргий» преследования играет памфлетными красками: общество «сторожит неудачу» с каким-то «зловещим тактом» и находит удовольствие самоутверждения в коллективных «облавах»:

«Как мы вертим хвостом лукаво, Как мы уходим величаво В скорлупку пошлости своей! Как негодуем, как клевещем, Как ретроградам рукоплещем, Как выдаем своих друзей! Какие слышатся аккорды в постыдной оргии тогда» и т. д.¹

Эти примеры выбраны почти наудачу, из разных эпох эволюции общественной психологии русского девятнадцатого века. Свидетельства подобного рода можно умножить во много раз, пока не создастся целостная картина русского общества глазами лучших его представителей. При этом было бы непростительной наивностью полагать, что все эти негативные стороны свойственны только русскому массовому сознанию. Знаменитая книга Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», вышедшая в 1929 году и глубоко поразившая европейскую мысль, описывала сущностные черты европейца XX столетия почти в тех же категориях. Дон Ортега писал о «человеке-массе», вкладывая в это понятие не столько социальный, сколько культурологический смысл; он анализировал самый феномен «массового сознания» — не производящего, а воспроизводящего заимствованные мыслительные стереотипы, нетерпимого к чужому мнению, агрессивного и претендующего на абсолютную истину и на всеобщее господство. Продукт цивилизации, «человек-масса» был, согласно Ортеге, носителем современного варварства. Философа обвиняли в аристократическом высокомерии, — но здесь было или лукавство, или непонимание, ибо он имел в виду не сельского или городского труженика, а политика и идеолога, навязывающего всему обществу нормы своего мышления и поведения. В большевизме и фашизме он видел крайние полюсы активности «человека-массы», подчинившего себе весь европейский мир.

Мы можем теперь вернуться к исходному пункту наших рассуждений и произвести мыслительный эксперимент, представив себе историческое лицо в этой среде, в ее системе ценностей, с ее критериями нравственных, исторических, культурологических оценок. Чем значительнее это лицо, тем естественнее ждать его отторжения в силу своего рода социальной ксенофобии, присущей описанному сознанию. Отторжение будет проходить, по-видимому, в весьма агрессивных формах, предполагающих как вариант полное отрицание за критикуемым каких-либо заслуг. Исторические обоснования критики будут скорее всего опираться на концепции линейного прогресса, ибо основной точкой отсчета для «человека-массы» является он сам, — и потому он непоколебимо убежден в «прогрессивности» именно тех сил, которые вывели его на социальный верх.

Иными словами, он почти неизбежно продуцирует ту самую концепцию, которая сейчас является наиболее распространенным объяснением политической судьбы Горбачева.

¹ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 15 т. Т. 3. Л., 1982. С. 11.

* * *

«Массовое сознание», как его определяли Ортега-и-Гассет и русские наблюдатели от Чаадаева до Чернышевского и далее, есть, конечно, абстракция, пользоваться которой можно только в ограниченных пределах. Тем не менее без учета его нельзя понять социальных репутаций культурных и общественных деятелей; репутации же эти далеко не всегда тождественны их объективной исторической роли. Здесь возникает неизбежно и проблема культурных поколений, каждая из которых вырабатывает и свои варианты индивидуального поведения, и свои типы их общественного осмысления. Феномен взаимного непонимания поколений был с позиций просветительского сознания описан еще Грибоедовым в «Горе от ума»; в шестидесятые годы XIX века он предстал социальным наблюдателям как взаимоотношения «отцов и детей». Историческое сознание, утверждая свои принципы, все более подвергалось ревизии просветительскую метафизическую оценочность и дидактизм, заставляя признать, что мировоззрение «отцов» не есть отклонение от естественных норм существования общества, как иной раз склонны считать «дети», — но некоторая внутренне целостная система, способная вызвать у потомков нечто вроде ностальгического чувства. Так, М. О. Гершензон, историк и философ, полностью принадлежавший эпохе «философского Ренессанса» начала XX века, заканчивал свой блестящий этюд о «грибоедовской Москве» сравнением «века нынешнего и века минувшего», находя неожиданно в последнем и некие утраченные потом позитивные черты.

Это рефлектирующее культурное сознание всегда таило в себе источник скрытой, а иногда и явной оппозиции тоталитарным и абсолютистским формам правления, и потому при абсолютных монархиях и диктатурах власть предпочитала опираться именно на массовое сознание, поощряя и пропагандируя официозные сочинения «для народа». Осознанной государственной культурной политикой воспитание массового сознания стало у нас в эпоху Сталина.

Апогея этот процесс достиг после войны, в конце сороковых—начале пятидесятых годов. Смысл идеологических кампаний против писателей, ученых, деятелей искусства заключался в уничтожении культурной элиты — потенциального источника инакомыслия — и замене ее «человеком-массой». Власти нужно было культурно-гомогенное общество, мыслящее заданными стереотипами. Искусство, наука должны были утратить свою герметичность и стать «понятными народу». Создалась целая генерация писателей, ученых и художников, производивших суррогаты для массового потребления. «Лысенковщина» была лишь одним, хотя, может быть, самым ярким эпизодом этого процесса, носившего тотальный характер.

Последствия его были для культуры не менее губительны, чем прямое физическое уничтожение ее деятелей. Суррогаты по цепной реакции в свою очередь порождали суррогаты же, ибо ничего иного они произвести не могли. Самая шкала интеллектуальных ценностей менялась, и менялся способ, механизм художественного и научного мышления.

Характерной чертой нового механизма было мышление полярными противоположностями, в том числе и проверенными стереотипами, слегка подновленными: «свой» — «чужие». «Кто не с нами, тот против нас». Вся культура, наука, политика разделяется на два «лагеря», «фронта»; демаркационная линия режет надвое все многообразие явлений между полюсами. Возникают формулы «сакральные» и «профанные». Сакральные — «народ», «прогресс», «демократия», «социализм», «партийность». Эти формулы не анализируются: они нерасчленимы. За ними закреплен эмоционально-ценностный ореол, почти поглощающий их реальный смысл. Профанные формулы — «буржуазный», «реакционный», «безыдейный» (формула совершенно бессмысленна, если не учитывать, что под «идеей» понимается только идея, официально признанная, — и отсутствие таковой есть основание к общественному осуждению: отсюда не только охранительный, но и «рекомендательный», побудительный характер «руководства искусством»). Сакральная формула высшего порядка — «политика». Слова «политическая ошибка» — преддверие идеологических репрессий. «Политика» доминирует в сознании и не имеет себе альтернатив. «Социология» — вредная ересь, предполагающая, что общество живет по своим законам, отличным от тех, что предписаны политикой.

Естественно, что такое сознание — изначально метафизично. Законы диалектики изучаются («диалектика» входит в число сакральных формул), но применение их в мыслительной практике явно нежелательно. «Догматика», напротив, — профанная формула, но она-то и определяет тип мышления, которое очень сродни религиозному сознанию. Так, студента пятидесятых годов могли исключить из учебного заведения, если он не изучил Маркса, но его и могли уволить с работы, если бы он вздумал в своей деятельности руководствоваться марксовской теорией стоимости.

Мы отнюдь не пишем памфлета, — мы пытаемся лишь обозначить, очень грубо и схематично, те черты мифологического сознания советского времени, которые были лишь вариантом «массовидного сознания», присутшего и всему европейскому миру, о чем писал Ортега-и-Гассет.

В конкретном своем воплощении они принимали бесконечно более сложные формы, накладываясь на те черты общественного сознания, которые сложились органически на протяжении веков. Так, идея социального равенства, выразившаяся в многочисленных социалистических учениях (религиозных, утопических и т. д.), является реальностью общественного сознания; такой же реальностью являются исторически присущие определенным слоям русского общества (хотя бы в реликтовой форме) патриархалистические и даже патерналистские черты, религиозное мироощущение — и с другой стороны, религиозный индифферентизм; традиционное уважение к армии как институту, персонификация власти, с которой иногда (например, в Отечественную войну) сложно связывалось чувство патриотизма и национального достоинства. «За Родину, за Сталина!» генетически связано со старым «За веру, царя и Отечество!» и очень часто становилось символической формулой вовсе не официозного содержания. Иными сло-

вами, официальное «воспитание масс» оказывалось в ряде случаев эффективным и устойчивым именно потому, что оно не отторгалось исторически сложившейся традицией, подобно тому как праздники языческого земледельческого календаря обеспечивали многовековую жизнь возникшим на их основе христианским праздникам.

И попытки его рационалистической критики, принимающей нередко предельно элементарные формы («хомо советикус»), потому очень напоминают бесплодные усилия «антирелигиозников» 1920-х годов уничтожить религию с позиций «здравого смысла». Общим для обоих подходов является и понятийный аппарат, и оценочно-дидактический подход к истории, в высшей степени характерный именно для массового сознания.

Это сознание стало претерпевать глубокие внутренние изменения уже в пятидесятые годы, когда началась сознательная деятельность М. С. Горбачева.

* * *

Михаил Сергеевич Горбачев принадлежит к поколению «шестидесятников». Официальная справка в словаре дает нам даты: родился в 1931 году, в 1955 окончил юридический факультет Московского университета, в 1952 году, двадцати одного года, вступил в партию. Пережившие это время помнят, какой удар нанесло оно по казалось бы устоявшимся официально утвержденным догматам: вначале истерически нагнетаемая кампания против «врагов народа», «сионистов», «убийц в белых халатах»; через несколько месяцев неожиданная смерть Сталина и падение Берии. Вчерашние убийцы оказались невинными жертвами; вчерашний незыблемый оплот государства — «врагом народа». Выступление Хрущева на XX съезде КПСС, реабилитация уцелевших узников ГУЛАГа, начало знаменитой «оттепели» бросало ретроспективный свет на целый исторический период, подводя общественное мнение к переоценке самых его идеологических, политических, правовых основ; как сказалось это на мировоззрении студента-юриста, которому предстояло стать политическим деятелем мирового масштаба, — об этом может знать только он сам, но мы вряд ли ошибемся, предполагая, что именно в начале пятидесятых годов нужно искать истоки его ментальности. «Шестидесятники» — люди потрясенного культурного сознания — открывали для себя диалектику исторических явлений и лиц, — ту диалектику, которую не вмещает массовая психология. Уже для оценки деятельности Хрущева оказывалось недостаточно оппозиции «черного» и «белого». Исторические противоречия представляли наглядно как органический закон, распространявшийся на все явления без исключений; они откладывались в индивидуальном сознании как закон анализа и самоанализа. Во время беседы в редакции «Литературной газеты» в июле 1992 года М. С. Горбачев вспоминал, что его плану реформ предшествовало осмысление вместе с интеллигенцией «того мира, в котором мы оказались». «Это было общее познание и самопознание, хотя болезненное, трудное. Моя по-

зиция была такая: попытаться в стране с многовековой историей провести реформы, не прибегая к насилию, не объявляя ни одной из сторон вражеской. Оппонирующей — да. Конкурирующей — на здоровье. Но не враждебной»¹.

Эта цитата — своего рода символ веры демократического сознания, органически управляющего поведением. Для него не существует полярных противоположностей, — и этим определяется, между прочим, его отношение к своему прошлому. «Человек-масса» (не говорим сейчас о демагогах, умело им манипулирующих) либо не поступается ничем, либо отрекается от прошлого легко и безоглядно, ссылаясь на то, что был кем-то обманут. Он оперирует противопоставлениями; «Ленин — Николай II»: левая часть плюс, правая — минус, или напротив, левая минус, правая плюс. «Сакральные» и «профанные» формулы остаются, они просто меняются местами. Аналитическое мышление отрицает сам принцип формульности. Для Горбачева понятия «партия», «социализм» — не символические обобщения негативных сторон исторической жизни, а некие ее реалии, взятые в движении и исторической перспективе, в которой могло меняться самое содержание этих категорий. Для него невозможен поэтому примитивно оценочный подход к прошлому, — подход периода 1949—1950-х годов, который движет мышлением многих его оппонентов. Это и есть психологическая и интеллектуальная основа «центризма» — идеологии современного культурного сознания — и вовсе не случайно окружение Горбачева собрало самые значительные интеллектуальные силы страны, причем преимущественно гуманитарной ориентации.

Но такое сознание, изначально предполагающее неизбежную ограниченность любого общественного акта, неизбежно должно критически оценивать и самого себя, — и именно это мы видим в деятельности Горбачева. Никто мужественнее его не «признавал свои ошибки»; по некоторым его выступлениям можно предполагать, что он скептически относится к самой возможности безусловно правильных решений в политике. В разговоре с Г. Киссинджером в 1989 году он заметил: «Знать, что неправильно, относительно легко. Знать, что правильно, как оказалось, исключительно сложно»². «Правильное решение» — это оптимальный из нескольких возможных вариантов, наиболее вероятное решение задачи с несколькими неизвестными. Нет сомнения, что многое из того, что принято сейчас считать «ошибками», «непоследовательностью» Горбачева — это фантомы, попытки описать одно сознание в категориях другого, — именно в категориях традиционного «полярного» мышления. «Ошибки», конечно, у него были, — но скорее всего не там, где их обычно ищут; найти же их суждено, видимо, лишь будущему историку, если Бог пошлет нам таких.

¹ Литературная газета. 1992. 8 июля. С. 11.

² Цит. по: Плутник А. Он приходил — это значительнее того, что он уходит // Известия. 1991. 24 декабря. С. 3.

Одна из особенностей этих мнимых ошибок — перенесение центра тяжести с политики на социологию и с непосредственного акта на его дальние последствия. Эта особенность присуща историческому мышлению, которое было рождено ревизией метафизической догматики. Так происходило в начале XIX века, когда Французская революция потрясла стройную систему просветительской философии, и «из равновесья диких сил» родилась диалектика и историзм романтического движения. Историческая концепция Карамзина учитывала закон движения и его результат, и уже ретроспективно оценивала самый акт. Современникам это казалось парадоксами: они не могли понять, почему историк не требует немедленного уничтожения крепостного права, которое сам же считает абсолютным злом, и доказывает органичность русской монархии, которую не считает абсолютным благом.

Учетом дальних последствий исторического события была продиктована позиция Горбачева в сложнейшем вопросе о единстве Союза. Но здесь важно восстановить канву событий, ибо последующие колебания политической атмосферы вызвали к жизни миф о Горбачеве как о виновнике распада Союза, — миф, созданный в расчете именно на массовое сознание и по его моделям и поддерживаемый политиками иной раз прямо противоположных ориентаций. «Я думаю, что выдающаяся роль Горбачева как раз и проявилась в развале Советского Союза» (Р. Хасбулатов)¹. «Горбачев попадет в историю так же, как Герострат. Человек, способствовавший развалу великого государства, способствовавший дестабилизации обстановки в мире...» (В. Алкснис)². Между тем как раз позиция Горбачева в ситуации, где мощные дезинтеграционные процессы почти уже не сдерживались слабыми тенденциями к интеграции, очень ярко высвечивает тот культурный тип поведения, который управлял его деятельностью и включал в себя нечто гораздо большее, чем политический прагматизм: в частности, как мы уже сказали, осознание дальних последствий политического акта.

* * *

«С самого начала перестройки, — писал М. С. Горбачев в послании участникам встречи в Алма-Ате по созданию Содружества Независимых Государств 18 декабря 1991 года, то есть уже тогда, когда «ново-огаревский процесс» был разрушен — мы шаг за шагом шли к тому, чтобы все республики обрели полную независимость. Но я все время настаивал на том, что нельзя допустить распада страны. Таково было и есть мое понимание воли народов, выраженной на референдуме, — как их стремление к независимости при сохранении целостности исторического союза. Эта мысль и это беспокойство лежали к основе моей формулы о «Союзе Суверенных Государств», которая первоначально встретила вашу поддержку». «Уверен, — писал он далее, — что у всех, кто не заражен национализмом и сепаратиз-

¹ Санкт-Петербургские ведомости. 1992. 19 августа. С. 4.

² Литературная газета. 1991. 8 декабря. С. 1.

мом, а это сотни миллионов, неизбежно возникнет чувство утраты «большой Родины». А когда практически начнется процесс государственного, административного и прочего размежевания, определение условий гражданства, это затронет очень многих самым непосредственным образом — в быту, на производстве, в человеческих связях»¹.

По газетам и журналам ближайших последующих месяцев можно было бы проследить, как этим прогнозам «массовое сознание» пыталось противопоставить представление о коммунистической империи — средоточии абсолютного зла. «Плач по империи» рассматривался как реликт «имперского мышления» или, в лучшем случае, как инертность сознания, не желающего считаться с историческими реалиями, и приблизительно в том же освещении предстала позиция Горбачева. Эволюция его образа от «носителя имперского сознания» до «разрушителя великого государства» — одна из поразительных метаморфоз социальной репутации, ставшая возможной именно потому, что его прогнозы стали подтверждаться очень скоро. Напомним, справедливости ради, что против распада Союза как экономической и культурной общности возражали многие политики и деятели культуры (такова с самого начала была, например, позиция А. А. Собчака), — те же из них, кто видел в нем историческую или политическую неизбежность, лично переживали его как драму. Об этом писал, в частности, А. Бовин². Очень показательно в этом отношении признание Г. Померанца, предрекавшего «распад империи» еще в 1970—1980-е годы: «...все же, когда империя развалилась, мне стало больно. Я спрашивал многих знакомых, что они чувствуют. Им тоже было больно, но они стеснялись об этом говорить. Как-то нелиберально. Я не стесняюсь. ... И не только за живых людей тревога. Больно за некоторое историческое существо, которого больше не будет, за империю как культуру»³.

Это отнюдь не «великороссийская» и не «великодержавная» точка зрения. В превосходном интервью Гранта Матевосяна («Всегда и вечно») она выражена почти с парадоксальной бескомпромиссностью: «Самая большая потеря — это потеря гражданином Армении статуса человека Империи. Потеря имперской, в лучшем смысле этого слова, поддержки и имперского начала, носителем коего всегда была Россия. Имперского человека мы потеряли. Высокого человека, великого человека, укрепленного человека. ... И я берусь утверждать, что армяне, начиная с 70-х годов прошлого века и до наших дней, — это более высокие, более мужественные и, как это ни парадоксально, более свободные армяне, чем те, которых освободили ныне от «имперского ига». Ведь это в 70-е годы прошлого века под крылом России вызрела и вновь состоялась армянская государственность. В армянской культуре появилась целая плеяда выдающихся людей. В прозе, в поэзии, в историографии, — всюду и везде, даже в политических партиях эти люди

¹ Известия. 1991. 20 декабря. С. 1.

² Бовин А. От перестройки к революции. — Известия, 1991, 10 сентября. С. 1.

³ Померанец Г. Надгробное слово империи. — Литературная газета, 1991, 18 декабря. С. 3.

были. И так могло быть «всегда и вечно»... Поэтому повторю: самая большая потеря — это потеря нами гражданства Великой державы»¹.

Социологические опросы в Москве констатируют «усиливающуюся ностальгию по СССР». Сегодня 69 процентов москвичей сожалеют о распаде Союза².

Политики, вовсе не принадлежавшие к числу сторонников Горбачева, анализируя эту ситуацию, иногда ссылаются на неоднократно выраженное им мнение. «Повторю мысль непопулярного ныне руководителя, — писал Р. Абдулатипов, — но тем не менее не ставшую от этого менее актуальной: мы все настолько связаны, что любой разрыв принесет неисчислимые страдания десяткам и десяткам миллионов людей. ... Думаю, что с каждым днем все большее число членов общества, политиков это все осознает»³.

«Ново-огаревский процесс» пытался найти оптимальное соотношение между двумя разнонаправленными тенденциями: к дезинтеграции, суверенизации и интеграции. В позиции, занятой Президентом, ярко сказались характерные черты рефлектирующего культурного сознания: понимание исторической закономерности той и другой, органическое неприятие насилия как средства разрешения этого противоречия; уже отмеченное предвидение побочных следствий политических акций и, наконец — что очень важно — признание первенствующей роли общества в решении своей собственной судьбы. Политик должен учитывать общественные настроения, даже если они продиктованы общественными предрассудками или неполным пониманием событий. В этом также, на наш взгляд, сказывается характерное для части «шестидесятничества» критическое отношение к сциентизму и технократическим общественным концепциям. «Нам нужно, чтобы люди поняли необходимость выбора. Иначе, если мы снова начнем загонять людей в счастливую жизнь, как загоняли в коллективизацию или в индустриализацию, ничего из этого не получится. Опять смотрим на народ, как на стадо, которым управляют пастухи, пусть сегодня они и называются демократами? Для меня это неприемлемо...»⁴.

Августовский заговор 1991 года и последовавшие за тем события: провал политической авантюры ГКЧП, возвращение М. С. Горбачева в Москву, минское совещание руководителей России, Украины и Белоруссии и образование на нем СНГ с денонсацией союзного договора 1922 года резко изменили течение событий. В «Заявлении Президента СССР», опубликованном 11 декабря 1991 года, М. С. Горбачев выражал несогласие с тем, что «судьба многонационального государства «определена волей руководителей трех республик», — без участия населения и его представительных органов, с непонятной «скоропалительностью», и в тот самый момент, «когда в парламентах республик обсуждается проект Договора о Союзе Суверен-

¹ Литературная газета. 1992. 8 августа. С. 3.

² Бетанели Н. Ни одна из политических сил не имеет решающего перевеса // Известия. 1992. 25 августа. С. 2.

³ Санкт-Петербургские ведомости. 1992. 17 марта. С. 2.

⁴ Литературная газета. 1992. 8 июля. С. 2.

ных Государств, разработанный Государственным Советом СССР»¹. Верный себе, он отметил, однако, и позитивные моменты соглашения — участие Украины, не проявлявшей активности в договорном процессе, стремление создать единое экономическое пространство, наладить культурное и научное сотрудничество и т. д.

Реакция не замедлила последовать. В том же номере «Известий», где было напечатано «Заявление», помещена подборка высказываний зарубежных комментаторов. «Президент игнорирует политические реалии». «Горбачев бросает вызов "Славянскому Союзу"». «Готова почва для предстоящего столкновения с Россией, Украиной и Беларусью, кремлевский лидер поставил под сомнение законность образования Содружества Независимых Государств» ... «Горбачев ... все еще считает, что Союз ни в коем случае не следовало бы распускать, как будто «тюрьму народов» — СССР можно было бы без всякого насилия спасти от распада»².

Политизированное «массовое сознание» готово было перешагнуть через принципы конституционности и демократизма, чтобы утвердить то, что оно считало незыблемо правильным.

Между тем «кремлевский лидер» стремился как раз избежать «предстоящего столкновения». Когда парламены трех республик утвердили минское соглашение (на пресс-конференции сразу же после возвращения из Беловежской Пущи С. Шушкевич сказал, что не сомневается в результатах голосования: «у нас люди разумные, хотя решать им...»³); когда в декабре в Алма-Ате к трем славянским государствам присоединились и другие, — Президент не только не сделал попыток помешать новому, еще хрупкому союзу, но попытался помочь ему своим политическим опытом. Он направил Алма-Атинскому совещанию письмо, которое мы уже цитировали, позднее он вспоминал о многочасовых совещаниях во время «передачи дел», о подготовке серии указов, «как все должно идти от Союза к Содружеству и России»⁴.

В своей прощальной речи, обращенной к гражданам уже не существовавшего Союза ССР, он сказал о принципиальных соображениях, по которым он не видит для себя места в государственных структурах нового объединения.

Горбачев оставил пост президента так, как это делает подлинно цивилизованный политик, не согласный с возобладавшим политическим курсом, но оставляющий за обществом право выбора.

Уход его и форма, в которой он осуществился, произвели сильное впечатление на общество и вызвали довольно широкий резонанс в печати. Сочувствие экс-Президенту было почти всеобщим; самые противники признавали, что он ушел достойно и готовы были согласиться, что недооценивали его. Но это была скорее симпатия к личности, в трудный период своей биографии оказавшейся на этической высоте; мало кто заметил, что имен-

¹ Известия. 1991. 11 декабря. С. 2.

² Там же. См.: Рабочая трибуна. 1992. 5 июня.

³ Там же. С. 2.

⁴ Цит. по: Комсомольская правда. 1992. 29 мая.

но уход Горбачева ярко высветил особенности представленного им типа культурного сознания. Люди этого типа легче других отказываются от власти, ибо на шкале их ценностей она не занимает первого места; личность, сформированная псевдокультурой «массы», теряет вместе с властью все. Редко говоря о себе, Горбачев, однако, в свое время пытался напомнить оппонентам, что однажды уже отказался от почти неограниченной власти Генерального секретаря ЦК КПСС. Для массового сознания это феномен почти необъяснимый; оно сошлось на том, что у него не было иного выхода. Он открыл возможности для своей собственной критики (которая перешла в личные оскорбления, когда критики почувствовали, что это ничем им не грозит). Он отказался от легких средств укрепить свою популярность и словно намеренно демонстрировал свою приверженность идеям, дискредитируемым массовой пропагандой (например, идее «социалистического выбора»). За всем этим стояла необыкновенная внутренняя устойчивость — не только личности, но и культурно-психологического типа, и самая «непоследовательность» Горбачева как Президента, его постоянные поиски общественных компромиссов были органической особенностью рефлектирующего, релятивистского культурного сознания. Между тем в эпоху поляризации социальных сил, когда требуется четкий выбор между «да» и «нет», черным и белым, сакральным и профанным, не может быть популярен мыслитель; это время людей «прямого действия». Феномен популярности, как уже сказано, не может быть понят исторически правильно без анализа среды, формирующей эту популярность, с ее настроениями, предрассудками, психологическими мотивациями. Среда же все более обнаруживает и свою гетерогенность, и резкую контрастность в интеллектуальном, общественном, культурном отношениях.

В ней соседствуют политический экстремизм и общественная апатия, уже, по наблюдениям социологов, породившая ностальгию по временам стагнации.

В ней уживаются широкая популярность мистических учений, на которых паразитируют знахарство и шарлатанство, и подчеркнутый сциентизм и технократические представления об обществе.

В ней воскрешаются элитарные культурные ценности «серебряного века» и потоком разливается массовая культура в своих самых вульгарных, бульварных формах и в масштабах, неведомых ни одному цивилизованному государству.

Будущему историку, который, надо надеяться, застанет период относительной стабилизации, предстоит решить, какие тенденции «обогнали» курс Горбачева — конструктивные, как принято сейчас считать, или деструктивные, и какому мышлению он противостоял — действительно ли «новому» или старому, сменившему политические цвета. И был ли конец эпохи его политического лидерства действительно победой демократических сил или трагическим эпизодом в эволюции общества, упустившего свой исторический шанс?

Сентябрь 1992.

В. Э. ВАЦУРО

ИЗБРАННЫЕ
ТРУДЫ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2004